

НАСЛЕДНИКИ
СУДНОГО ДНЯ

18+

Made in Heaven

Наследники Судного дня

«Автор»

2026

Made in Heaven

Наследники Судного дня / Made in Heaven — «Автор», 2026

На краю вольного севера, где тайга стоит в три человеческих роста, лежит деревня Тихий Звенец. Шестнадцатилетний охотник Каня знает здесь каждую тропу, а звери замирают под его взглядом. Своего детства он не помнит. Этой зимой из леса ушли птицы, а старый дядя Игоша всё чаще смотрит на южную дорогу, будто ждёт гостей, которых лучше бы не дожидаться. В сияющей державе Саулет, среди вишнёвых садов и вежливых улыбок, безликий рыцарь, которого двор зовёт Железным, стережёт младшего принца. Шлема он не снимает никогда. А старший принц улыбается отцу и умеет ждать. В Тасталгане, городе неона и хищников, где правят четыре Отца, нашли одного из них - целого, без единой раны, с удивлением на лице. Из него вынули душу. На полу остался знак, которым в этом городе пугали только детей. А девушке, что слышит всё, каждую ночь снится золотое древо посреди сгоревшего мира - и зовёт её именем, которого она не помнит. Три судьбы, которые ничто не связывает. Пока.

© Made in Heaven, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	15
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Made in Heaven

Наследники Судного дня

Глава 1

Тихий Звенец

Под лыжами Кани снег не скрипел.

Он умел ходить так, что тайга его не слышала: мягко, на полушаге, перенося вес туда, куда нога ещё только собиралась встать. Лес стоял белый и тихий, в три роста человека, и пах морозом и хвоей. Где-то наверху, в кронах, сыпалась снежная пыль - садилась невидимая птица. За спиной Алексей рушил эту тишину так, будто мстил ей за что-то: наст под ним хрустел на каждом шагу, словно парень нарочно искал каждую корку.

- Да встал он там, точно говорю. - Алексей тяжело дышал, но рта не закрывал. - Я след видел, большой. Морозный бык, не меньше.

- Ты вчера зайца за быка принял, - не оборачиваясь, обронила Ланая. Голос у неё был ровный, с вечной тонкой насмешкой - так она говорила всё, даже «доброе утро». - А позавчера - собственную тень.

- Один раз! Один раз было.

- Хоть бы раз ты прошёл тихо, охотник.

- А чего тихо красться? - Алексей приосанился, насколько можно приосаниться, стоя по пояс в снегу. - Зверь меня уважает. Чует - идёт хозяин тайги, и сам ложится: бери, мол.

- Зверь тебя за версту чует, - сказала Ланая, - и уходит за два хребта, улыбаясь во все зубы.

Тося прыснула в варежку. Рыжие пряди выбились из-под шапки, иней на ресницах вздрагивал от смеха.

- Ланая, ну ты злая сегодня, - выговорила она и тут же, спохватившись, обернулась к Кане, будто только ради этого и говорила: - А вот Каня тихо ходит. Я за ним вчера полдня шла - ни разу не услышала. Прямо как... как рысь.

Сравнение вышло так себе, и она это поняла, и порозовела сильнее, чем от мороза, и принялась поправлять и без того ровно сидящую шапку. Каня коротко глянул на неё - не зло, а как смотрят, когда не знают, что ответить, - и опять опустил взгляд к снегу.

- Рысь, - фыркнул Алексей. - Скажешь тоже. Рысь хоть мышей ловит, а Каня за всё утро - ни мышонка.

- Зато ты наловил на целый обед, - отозвалась Ланая. - Жаль, всё враньём.

Тося, видно, решила доказать про рысь делом. Пошла за Каней след в след, ступая преувеличенно осторожно, на цыпочках, задержав дыхание, - и на третьем шаге провалилась в снег по бедро и ойкнула на всю тайгу так, что где-то впереди шумно снялась с ветки птица.

- Вот, - удовлетворённо сказал Алексей. - Рысь.

- Я просто... снег тут рыхлый, - пропыхтела Тося, выбираясь и краснея.

Каня, не оборачиваясь, протянул назад руку - не глядя, точно зная, где она, - и вытянул Тосю из ямы одним движением. Та запунцовела окончательно и до самого распадка шла молча, зато ровно по его лыжне, шаг в шаг, и больше не проваливалась.

- Учишься, - сказал он ей. Одно слово, а Тося потом полдня его вспоминала.

Каня присел над снегом. Следа Алексея там не было - был другой, настоящий, который Алексей, конечно, прошёл мимо: широкая раздвоенная вмятина, наполовину занесённая, с ледяной коркой по краю. Он тронул корку пальцем. Старая.

- Бык твой ещё до рассвета прошёл, - сказал он. Голос у него был негромкий, и оттого его слушались. - Ушёл вверх, к хребту. Не угоним до темноты.

- Так пойдём! - загорелся Алексей. - Заночуем, а к утру...

- Дядя Игоша велел вернуться засветло, - ровно сказал Каня. - Возьмём, что ближе, и домой.

Алексий открыл было рот поспорить - но наткнулся на ледяную корку, которую Каня всё ещё держал на пальце, и на то, как спокойно тот смотрел, и сдуслся.

- Ну... ладно, - буркнул он. - Но бык был мой.

- Был, - согласился Каня, и Алексей приободрился, и зря.

Передохнули у поваленной сосны. Тося раздала по ломтю вяленой трески, Алексей выпросил у неё второй, и она, конечно, дала - Тосе проще было отдать, чем сказать «нет», - а Ланая этот второй ломоть отобрала и вернула Тосе. Из принципа.

- Он тебе на шею сядет, - сказала она. - Уже почти сел.

- Да я отдать хотел, - соврал Алексей.

- Ты? Отдать? Скорее тайга по весне зацветёт.

Препирались они так, как препираются те, кто знает друг друга с пелёнок: без злобы, по привычке, ради самого звука. Каня жевал свою рыбу и слушал, и эта возня ложилась на душу теплее костра. Он не лез в их споры. Ему хватало того, что они есть.

А Тося вдруг перестала жевать и подняла голову, прислушиваясь.

- Тихо-то как, - сказала она негромко. - Слышите? Совсем тихо.

- Так зима, - не понял Алексей, дожёвывая её рыбу. - Чего ей шуметь, зиме.

- Нет, не так. - Тося обвела глазами белые кроны, и на лице её проступило то детское, обиженное недоумение, с каким она всегда говорила про свои «чудится». - Птиц нету. Совсем нету. В прошлую зиму тут синицы стайками висели, и снегири, и дятел долбил вон с того сухостоя. А нынче - ни одной. Я и давеча заметила, и позавчера, а сегодня и подавно. Пусто. Будто все разом улетели куда. Или попрятались.

- От тебя попрятались, - буркнул Алексей. - Ты ж как ойкнешь - вся тайга гложет.

- Да я серьёзно!

- А ты вечно серьёзно. То тебе вода не так шумит, то сон дурной приснился, то птицы не там сидят. - Алексей отмахнулся. - Впечатлительная ты, Тоська. Вот и мерещится.

Ланая ничего такого не сказала. Она не верила ни в дурные сны, ни в приметы, ни в прочую бабью муть: всё на свете у неё имело простую причину, и эту причину она обыкновенно находила. Но, оглядев кроны вслед за Тосей, она против воли отметила, что рыжая права. Птиц и впрямь не было. Ни одной. И зверь нынче шёл туго, и след попадался всё больше старый, и тайга стояла глуше, чем ей положено даже зимой.

- Откочевали, - сказала себе Ланая. - Бескормица, вот и подались южнее. Бывает.

Объяснение было простое и разумное, и она им удовольствовалась. Почти. Где-то на самом доньшке осталась царапина: не помнила она такой зимы, чтоб разом, дочиста, по всей округе - и ни единой птицы.

Но вслух Ланая сказала только:

- Доедайте. Засветло не обернёмся - Игоша всем уши открутит.

На обратном пути, у занесённого ручья, их и встретили - не бык, а пара морозных, корова с подростом телёнком. Залегли в снег с подветренной стороны, и Каня жестом велел замереть. Все замерли - даже Алексей, который замирать не умел.

Умел недолго. Корова ещё только опустила морду к полынье, а он уже подобрался ближе, чем надо, и под ним хрустнуло, и корова вскинула голову. Уши торчком. Сейчас сорвётся...

Не сорвалась.

Каня сам не понял, как это вышло. Он просто поднялся из снега - медленно, в полный рост, открыто, как нельзя подниматься на зверя, - и корова не побежала. Она смотрела на него. Бока ходят, пар валит из ноздрей, а с места не двигается, будто её пригвоздили к снегу. Телёнок жался к матери и тоже стоял. Несколько долгих ударов сердца Каня и корова смотрели друг

на друга через белое поле, и в этой тишине не было страха - ни у неё, ни у него. Было что-то другое, чему он не знал имени и от чего по спине шёл холод сильнее морозного.

Потом он метнул копьё, и всё кончилось чисто, и тишина рассыпалась.

- Видали?! - Алексей выбрался из сугроба, отплёвываясь снегом. - Она встала как вкопанная! Каня, ты её взглядом приморозил, что ли? Научи. Я б так на свадьбах девок останавливал.

- Тебя и без взгляда ни одна не догонит, чтоб сбегать, - заметила Ланая.

- Звери его любят, - сказала Тося с гордостью, будто это её заслуга - что Каню любят звери.

Только Ланая не смеялась. Она смотрела на Каню чуть дольше обычного - так смотрят, когда замечают что-то, чему пока нет имени, и не знают, радоваться или бояться. Потом отвела взгляд и принялась распускать ремни на поклаже.

- Любят, - сказала она негромко, ни к кому. - Странно любят.

Каня вытер копьё о снег и не ответил. Он и сам не знал, что сказать. С ним такое бывало и прежде - реже, чем хотелось бы помнить, и каждый раз он спешил поскорее забыть.

Тушу взвалили на волокушу и потянули вниз, к деревне, пока день медленно сдавал. Свет загустел, сделался синим, потом сиреневым; тени между стволами вытянулись и слились. Мороз к вечеру окреп, хватал за щёки, и дышалось так, что в груди кололо - сладко и остро.

- Чур, рассказываю я, - заявил Алексей, отдуваясь под лямкой. - Что быка взяли. Огромного. А корову - так, до кучи.

- Это не бык, - сказала Тося.

- А кто докажет?

- Я. И телёнок. И корова. И Ланая.

- Ланая соврёт за меня, если попросить красиво.

- Ланая, - сладко протянула Ланая, - даст тебе лямкой по затылку, если не замолчишь.

Каня улыбнулся в воротник и промолчал. Внизу, за последним гребнем, проступил Тихий Звенец - горстка тёмных крыш в снежной чаше, и над каждой вился дымок, и в окнах уже зажигались жёлтые огни, тёплые до того, что от одного их вида делалось легче тянуть лямку. Где-то лаяла собака, в хлеву мычала скотина, тонко и далеко звенело - то ли наковальня, то ли намёрзшая ветка о ветку. Не зря деревню звали Звенцом.

- Дом, - сказала Тося просто, и в этом одном слове было всё.

У околицы их встретил первый же родной звук - гулкий, мерный, железный: дядька Радим бил по наковальне в своей кузне, и красные искры сыпались в синие сумерки. Кузнец был велик, как медведь, и закопчён, как уголь, и, завидев волокушу, отложил молот.

- О, охотнички, - пробасил он. - Живые. А я уж думал, тайга вас съела и не подавилась.

- Быка взяли! - крикнул Алексей.

- Корову, - поправил Радим, глянув на тушу одним опытным глазом. - И телёнка. Бык бы тебя самого взял, болезный, и не заметил.

Алексий открыл рот и закрыл. Ланая просияла.

- Радим, ты просто лучший, - сказала она.

- Эт я знаю, - согласился кузнец и снова взялся за молот.

Деревня тянулась им навстречу: из-за плетней выглядывали, окликали, спрашивали, велик ли зверь. Бабка Малуша выскочила на крыльцо в одной душегрейке, всплеснула руками:

- Куда ж вы по морозу нараспашку, оглашенные! Простынете - кто вас, дурней, отхаивать будет? Зайди, Тосенька, я тебе чаю с малиной - на тебе лица нет!

- Бабушка, мы только с охоты...

- Вот и зайди, охотница. И долговязого этого веда, и Ланаяшку. А ты, Каня, - она пригрозила ему пальцем так ласково, как грозят только самым любимым, - ты дяде Игоше скажи, чтоб ел. Совсем твой старик высох, всё в окно глядит, а в миску - нет.

- Скажу, баба Малуша, - отозвался Каня.

Что-то в её словах кольнуло его - несильно, мимоходом, - но додумать он не успел: под ноги ему с разбегу влетел Гордейка, малец лет шести, в шапке не по размеру, из-под которой торчал один красный нос.

- Каня! Каня, а ты зверя убил? А копыё дашь подержать? А научишь? Когда вырасту? А я уже большой!

- Большой, - серьёзно подтвердил Каня, присел на корточки, чтобы стать с мальцом вровень, и поправил ему сползшую на глаза шапку. - Подержать дам. Научу. Когда дорастёшь вот досюда. - Он чиркнул ладонью на полголовы выше Гордейки. Тот мгновенно встал на цыпочки.

- Не жульничай.

- Я не жульничаю, я расту, - заявил Гордейка с таким убеждением, что даже Ланая фыркнула.

У дома мясника Анофа тушу сдали - большую часть в общий запас, как водилось, на всю деревню, на долгую зиму. А заднюю четверть Каня велел отнести не к себе.

- Тётке Заре снеси, - сказал он сыну мясника. - У неё трое по лавкам, а мужа нет. И не говори, что от меня. Скажи - общинное, доля.

- Опять ты, - без удивления сказала Ланая, когда отошли. - Себе-то хоть кусок оставил, благодетель?

- Оставил. На двоих с дядей Игошей хватит.

- На двоих, - повторила Ланая чуть тише и больше ничего не сказала.

На развилке расходились - тут начинались их улочки, их калитки, их тёплые окна. По домам, к своим. Алексей уже махал рукой и уже придумывал, как будет врать отцу про быка. Тося оглянулась на Каню ещё раз - будто хотела что-то сказать и, как всегда, не сказала. Ланая задержалась на полшага дольше прочих.

- Завтра на той же опушке? - спросила она.

- На той же.

- Не беги без нас, - сказала она. - Не все тут рыси.

И ушла, не дожидаясь ответа, и снег под ней скрипел почти так же тихо, как под ним.

Над деревней сомкнулась ночь - северная, разом, без сумерек. Высыпали звёзды, мелкие и колкие. В окне дяди Игоши горел свет: значит, не спал. Дядей Игошей звала Игнатиуса вся деревня от мала до велика, и Каня, сколько себя помнил, иначе и не звал. Старик никогда не ложился, пока Каня не вернётся, - как бы поздно тот ни приходил.

Старик сидел у очага, и огонь клал ему на лицо неровные тёплые пятна, и от этого морщин было видно больше, чем при дневном свете. Он был ещё крепок, Игнатиус, - широк в плечах, с руками, которые помнили меч, хоть меча в доме давно не водилось, - но последние дни будто пригнули его к земле.

- Взяли? - спросил он, не оборачиваясь.

- Корову с телёнком. Большую часть - в запас. Заднюю - тётке Заре.

Игнатиус коротко, одобрительно качнул головой - он всегда так делал, когда Каня поступал по совести; и юноша, сам того не замечая, всю жизнь поступал по совести немножко ради этого кивка.

- Баба Малуша велела тебе есть, дядя Игоша, - сказал Каня, вешая полушубок. - Говорит, ты в окно глядишь, а в миску - нет.

- Болтливая старуха, - без злобы сказал Игнатиус. И, помолчав, добавил, глядя в огонь: - В окно глядеть тоже надо. Иногда оттуда приходит то, чего ждёшь.

- А ты чего ждёшь?

Старик ответил не сразу. В очаге стрельнуло полено, рассыпав искры, и он долго смотрел, как они гаснут на камне, одна за другой.

- Каня, - сказал он наконец, и что-то было в его голосе, отчего у парня по спине прошёл тот же холод, что давеча в снегу, перед коровой. - Сядь. Мне надо тебе сказать...

И не сказал.

Каня видел, как это случилось, и после долго не мог забыть. Старик открыл рот - и горло у него дёрнулось, будто в нём встала кость. Жилы на шее вздулись. Лицо потемнело, налилось кровью, губы шевельнулись раз, другой, беззвучно, как у рыбы на льду, - и ни звука не вышло. Игнатиус схватился за горло, закашлялся, согнулся над очагом и кашлял долго, страшно, до слёз, будто выхаркивал что-то, что не желало выходить.

- Дядя Игоша! - Каня кинулся к нему, подхватил за плечи. - Ты чего? Воды?

Старик мотнул головой, отдышался. Выпрямился. Отвёл его руки - бережно, но твёрдо. И когда поднял глаза на Каню - на это спокойное, открытое лицо, которое растил десять лет, - в глазах у него стояла такая тоска, какой Каня за ним не помнил никогда.

- Поперхнулся, - сказал он хрипло и отвернулся к огню. - Старый стал. Поешь сперва, намёрзся весь. Потом.

- Потом так потом, - сказал Каня, но греть похлёбку пошёл не сразу: постоял ещё, глядя старику в спину. Поперхнуться можно куском. А Игоша с утра ничего не ел.

Игоша ещё долго сидел у очага, глядя в огонь, и о чём он думал, Каня не знал. Но это была их обычная тихая ночь - две миски, один очаг, мороз за стеной, - и парень был дома. И большего ему не хотелось.

Глава 2

Меч короля

Королевство Саулет, Центральные земли

Оружейный двор Мунхолла в этот час пах железом, конским потом и цветущей вишней, и сир Яров думал, что из трёх этих запахов честен только первый.

Он стоял в тени галереи и смотрел, как первый принц бьётся с мастером клинка. Стоял, как стоял всегда и везде, - в глухом рыцарском шлеме, из-под которого миру доставались только голос да глаза в тёмной прорези. Шлема этого при дворе не видели снятым никогда. Ходил слух, что под ним ожог; ходил другой - что обет; ходил третий, самый глупый и самый живучий, - что лица там нет вовсе, одна сталь до самого затылка. Яров слухов не опровергал. Двор много б отдал, чтоб заглянуть под это железо, - а двор, как известно, дорого даёт лишь за то, чего ему не показывают. За глаза его звали Железным, и он не обижался: прозвище было честнее многих здешних имён.

Айдахар Мун дрался красиво - слишком красиво для того, кто дрался бы всерьёз. Каждый выпад был выверен так, чтоб его увидели с балконов, где под шёлковыми навесами сидели дамы двора и обмахивались веерами, будто вишнёвый цвет мог кого-то согреть. Мастер клинка, старый Гвейн, отступал ровно настолько, чтоб принц наступал, и пропускал ровно один удар из четырёх, чтоб принц побеждал. Яров видел это так же ясно, как видел, что небо над стеной синее. Видел и молчал. Молчать при дворе он выучился прежде, чем выучился здесь чему бы то ни было ещё.

- Сир Яров хмурится, - произнёс голос у его локтя. - Не спорьте, сир: лица вашего не видал никто, но хмуритесь вы всей спиной, это при дворе давно заметили. А ведь принц бьётся отменно. Иные сказали бы - как бог.

Лорд Ансель Веттер, второй советник казны, возник рядом бесшумно, как возникали все, кому при дворе было что терять. Человек он был мягкий, круглый, с улыбкой, которую надевал поутру вместе с цепью должности и, должно быть, снимал на ночь так же осторожно, чтоб не помялась.

- Иные сказали бы, - согласился Яров.

- А сир Яров не скажет.

- Сир Яров плохой придворный, милорд. Я говорю, что вижу, а вижу я, что мастер Гвейн сегодня добр.

Веттер издал тихий смешок - не потому, что было смешно, а потому, что смех есть самый учтивый способ ничего не ответить.

- Вот за это вас и держат, сир, - сказал он, чуть понизив голос. - При дворе, где всякий второй лжёт из выгоды, а всякий первый - из привычки, человек, который говорит правду по простоте, дороже золота. Вас можно пустить куда угодно: вы всё равно не поймёте, что видели. - Он улыбнулся шире, смягчая укол. - Я, разумеется, шучу.

- Разумеется, - сказал Яров.

Он не был так прост, как думал о нём Веттер, и как думал о нём почти весь двор. Просто он давно решил, что дешевле казаться туповатым мечом, чем острым умом: острые умы при дворе Мунов жили ярко и коротко. Меч же нужен всем и не нужен никому в отдельности, а потому меч переживает и тех, кто его точит, и тех, кто на него точит зуб.

На дворе принц провёл наконец обманный финт, который старый Гвейн любезно не заметил, и достал мастера деревянным клинком в плечо. С балконов уронили в ладоши - мягко, шёлково, как роняют то, что ничего не стоит. Айдахар выпрямился, отбросил со лба тёмную прядь и поклонился дамам - ровно, холодно, без улыбки. Он никогда не улыбался победам. Яров давно заметил: первый принц брал их, как берут причитающееся, - без радости, потому

что радость есть у того, кто не был уверен, а Айдахар не позволял себе быть неуверенным ни в чём.

- Хорош, - сказал Веттер, хлопая мягкими ладонями. - Истинно королевская кровь.

- Кровь у них у всех королевская, милорд, - заметил Яров. - Целых четверо.

Это была неосторожность, и он понял это, едва сказав. Веттер перестал хлопать. Улыбка осталась на месте - при дворе улыбки не снимали так быстро, - но глаза над ней сделались внимательны.

- Четверо, - повторил советник ласково. - Вы считаете принцев, сир Яров? Дурная привычка. При дворе не считают того, чего пока в избытке. - Он помолчал ровно столько, чтоб пауза была слышна. - Считать начинают, когда чего-то вот-вот станет меньше.

И, поклонившись с той безупречностью, что хуже пощёчины, лорд Ансель Веттер уплыл прочь - к другим локтям, к другим ушам, разнося по двору свою мягкую улыбку и свои острые паузы.

Яров остался. На душе было скверно, как всегда после придворного разговора, - будто прошёл через паутину и теперь не отряхнёшься, сколько ни три ладони.

Уйти ему, однако, не дали.

- Сир Яров! - Голос первого принца перекрыл двор - не громкий, а такой, какому не отвечают молчанием. Айдахар стоял посреди песка, отирая полотенцем шею, и деревянный клинок висел в его руке, как висит перо в руке писца: небрежно и точно. - Мастер Гвейн нынче в милости и щадит меня. Он стар, я его не виню. А мне надобен противник, что не щадит. Не окажете ли честь?

На балконах смолкли веера. Двор любил такие мгновения больше турниров: тут проливалась кровь, которой не видно.

Отказать было нельзя. Согласиться было опасно. Победить первого принца на глазах у двора - глупость, за которую платят годами; поддаться - оскорбление, которого такой человек не прощает. Яров сошёл на песок, снял с крюка тупой клинок, взвесил в руке.

- Как прикажете, ваше высочество. Только я не турнирный боец. Я скучный.

- Тем лучше, - сказал Айдахар. - Скучное живёт дольше.

Они сошлись.

Яров сразу понял две вещи. Первая: первый принц дрался куда лучше, чем показывал двору, - гораздо лучше; всё, что было на дворе до сих пор, было представлением для балконов, а теперь принц играл всерьёз, и играл красиво, экономно, зло. Вторая: Айдахар не собирался побеждать. Он собирался смотреть.

- Вы держите клинок, как держат косу, сир, - сказал принц, отступая от его удара. - Мужички. Без изящества.

- Изыщество тратит силу, ваше высочество, - отозвался Яров, тесня. - А сила пригождается на четвёртой четверти часа.

- И на кладбище.

- Там больше, чем где-либо.

Деревяшки сошлись, разошлись, сошлись. Айдахар ушёл вбок, попробовал ноги - Яров не купился. Айдахар усмехнулся в первый раз.

- А правда, что забрало вы не подымаете и на пиру? - спросил он, кружа. - Двор бьётся об заклад: ожог, обет или уродство. Ставки принимает Веттер, ставки высоки.

- Пусть ставят, ваше высочество. Двору нужно чем-то жить.

- А ставлю я. - Клинок принца свистнул у самого шлема, и Яров едва отвёл его, и в этот-то миг Айдахар и сказал то, ради чего вышел на песок, - тихо, лицом к лицу, в скрещённые деревянные, чтоб слышал один Яров: - Я ставлю на то, сир, что вам нечего прятать. Что нет там ни ожога, ни обета. А есть простое лицо простого человека, которому нечем защититься при этом дворе, кроме железа. И вы, стало быть, не загадка. Вы - страх.

Яров надавил и отбросил его - на полшага, ровно на приличие, и отступил сам.

- Может, и страх, ваше высочество, - сказал он ровно. - Только страх этот не за себя.

Что-то сверкнуло в глазах первого принца - и погасло, спрятанное быстрее, чем двор успел заметить. Он опустил клинок, отсалютовал - безупречно.

- Довольно, - сказал он громко, для балконов, - мастер Гвейн бьётся честнее, а сир Яров - страшнее. С таким я не хочу ссориться и на песке. - И, уже поворачиваясь, обронил вполголоса, одному Ярову: - Мы с вами ещё скрестим, сир. Не дерево. Как-нибудь после.

Хлопали ему долго. Яров вешал клинок на крюк и думал, что за всю службу не помнит поединка, в котором его так основательно бы прочли, - и в котором сам он не понял бы ровно ничего.

Короля он нашёл там, где и надеялся, - не в тронном зале, а в нижнем саду, у старой яблони, посаженной, говорили, ещё дедом нынешнего деда. Сандор Мун, король Саулета, государь Серединных земель, повелитель Юга до тёплого моря и Востока до песков, сидел на простой каменной скамье без свиты и чистил яблоко маленьким ножом, и лента кожуры свисала с лезвия одна, непрерывная, - король гордился этим умением, как иные короли гордятся войнами.

При виде Ярова он не встал - королям не встают, - но отложил яблоко и поглядел снизу вверх с тем ленивым, всё подмечающим прищуром, который враги принимали за добродушие и о котором потом жалели.

- Мой меч пришёл, - сказал король. - И, судя по лицу, кто-то опять оттоптал моему мечу совесть. Кто на сей раз? Веттер?

- Лорд Веттер был любезен, ваше величество.

- Ну значит, Веттер, - кивнул Сандор. - Он всегда любезен, когда пускает кровь. Садись. Стоя надо мной высятся только те, кому от меня что-то нужно, а тебе, сир, от меня не нужно ничего, и это единственная причина, по которой я тебе верю. - Он снова взял яблоко. - Верность за должность - это торговля. Верность за страх - это узда. А верность даром - вещь такая редкая, что я держу её при себе, как держат в кармане тёплый камень: не греет, а на душе спокойней.

Яров сел - на край, как садятся солдаты, готовые вскочить. Он не умел вести таких разговоров, где слова стоят дороже дел, и оттого рядом с королём всегда чувствовал себя чуть глупее, чем был. Но Сандор Мун был из тех немногих при дворе, чья двусмысленность не резала, а грела: король играл словами не чтоб ужалить, а чтоб проверить, крепок ли собеседник, - как трогают лёд, прежде чем ступить.

- Скажи мне, сир Яров, простую вещь, - проговорил король, не поднимая глаз от яблочной кожуры. - Ты человек прямой. Прямые люди видят то, чего не видим мы, кривые. Что говорят на дворе про моего младшего?

Вопрос был лёгкий на слух и тяжёлый нутром, и Яров это почуял, хоть и не умел бы объяснить чем.

- Любят его, ваше величество, - сказал он осторожно. - Мальчика нельзя не любить.

- Это я знаю и без двора, - сказал Сандор. - Я спросил не про любовь. - Лента кожуры дрогнула и не порвалась. - Я спросил, что говорят.

Яров помолчал. Он не любил носить королю дворовый сор, но не умел и лгать, а меж этими двумя неумениями лежала только правда.

- Говорят, - сказал он наконец, - что вы, государь, глядите на младшего дольше, чем на старших. Что зверь к нему идёт сам и дитя не боится ни пса, ни коня. Что это, мол, кровь королевы, старая кровь. - Он поднял глаза. - А ещё говорят - вполголоса, - что негоже, когда отцовская любовь садится не по старшинству. Что от такого в домах пожиже нашего бывали ссоры. А в домах, где на кону корона...

Он не закончил. Король закончил за него - тихо, без выражения:

- ...бывает кровь. - Сандор наконец снял с ножа непрерывную ленту кожуры, оглядел её, будто в ней был ответ, и уронил на дорожку. - Договаривай всегда, сир. Недоговорённое слово при дворе живёт дольше сказанного и обрастает такими родичами, каких ты и в родню не звал.

Он разрезал очищенное яблоко надвое, оглядел белую мякоть - и вдруг, помимо всей своей ленивой королевской воли, лицо его на миг сделалось лицом простого немолодого человека, которому есть что терять и который это знает.

- Я гляжу на младшего дольше, - сказал он тихо, - потому что чую: ему это дольше и понадобится - чтоб на него глядели. Старшие мои сильны и обойдутся. А этот... в этом что-то такое, сир, чего я сам не пойму, а чего не понимаешь - за то и боишься. - Он протянул Ярову половину яблока, и это был не жест короля, а жест человека. - Возьми. И вот что. Я хочу приставить тебя к нему. К младшему. Не нянькой - нянек у него табун. Мечом. Тенью. Тем, кто просто есть, когда все прочие заняты собой. Ты возьмёшься?

Яров взял яблоко. Оно было холодное и пахло тем единственным честным запахом, что был здесь с утра.

- Возьмусь, ваше величество, - сказал он. И, поскольку был человек прямой, прибавил то, чего придворный не прибавил бы: - Только скажите, государь, - от кого его беречь? Чтоб я знал, куда смотреть.

Сандор Мун поглядел на своего честного меча долгим взглядом, и в этом взгляде было что-то, чего Яров не разобрал и о чём не решился спросить.

- Кабы я знал, сир, - сказал король, - я бы не боялся.

Мальчика Яров увидел в тот же день, под вечер, и после долгой службы, после балконов, вееров и мягких улыбок это было как глоток колодезной воды.

Младший принц сидел на полу в дворцовой псарне - где ему сидеть не полагалось вовсе, - среди соломы, в измазанном камзолчике ценой в годовое жалованье псаря, и держал на коленях щенка. Вокруг него полукругом, положив тяжёлые головы на лапы, лежали остальные псы - взрослые, злые волкодавы, которых псари брали в руки не иначе как в двойных рукавицах, - лежали смирно, как ягнята, и смотрели на дитя, и дитя было их царь. Псарь стоял в стороне, бледный, не смея ни подойти, ни увести его высочество, и переминался с ноги на ногу, как человек, стерегущий чужую беду.

- Ваше высочество, - сказал Яров, останавливаясь в дверях. - Здесь холодно и грязно. Королева будет искать вас.

Мальчик поднял голову. Ему было шесть, и лицо у него было ещё то, младенческое, круглое, но глаза - глаза уже смотрели прямо и спокойно, не по-детски, тем взглядом, каким смотрят те, кому нечего прятать, потому что они ещё не выучились, что прятать надо.

- Они меня стерегут, - сказал принц серьёзно, кивая на волкодавов. - А я стерегу маленького. У него нет мамы. Его прогоняли, а я не дал.

- Это благородно, ваше высочество, - сказал Яров, и, к своему удивлению, сказал это не как говорят детям, а как сказал бы равному. Было в мальчике что-то, отчего не хотелось сюсюкать.

- Ты новый? - спросил принц, разглядывая его без страха. - Ты железный. Как дядя Гвейн. Только у дяди Гвейна лицо доброе снаружи и злое внутри, а у тебя наоборот.

- У меня не видно лица, ваше высочество, - сказал Яров, и голос его глухо отдался под сталью.

- Ну и что, - сказал мальчик, пожав плечами, как пожимают на очевидное. - Оно всё равно доброе. Я же не глазами смотрю.

Яров моргнул под шлемом. При дворе, где взрослые мужи годами не могли раскусить друг друга, этот ребёнок вскрыл его в два слова, играючи, как вскрывают орех.

- Меня зовут сир Яров, - сказал он. - Я буду при вас.

- Зачем?

- Чтоб с вами ничего не случилось.

Мальчик обдумал это, глядя щенка.

- А если случится с тобой? - спросил он. - Тогда кто будет при тебе?

И Яров, старый солдат, повидавший войну и двор, что пострашнее войны, не нашёлся, что ответить шестилетнему ребёнку в грязной псарне. Он просто протянул руку - и один из злых волкодавов, поднявшись, ткнулся в неё мокрым носом и позволил себя тронуть, чего не позволял, говорили, никому, кроме псаря. Мальчик засмеялся, и смех этот был чистый, без второго дна, - первый честный звук, что Яров услышал за весь этот долгий, шёлковый, ядовитый день.

Яров не нашёлся, что ответить, и был этому рад: под глухой сталью не видно лица, а лицо у него в тот миг было такое, какого не показывают никому.

Знал только, что мальчика надо увести из холода. И увёл.

А поздно ночью, в другом крыле Мунхолла, в покоях, где не жгли лишних свеч, первый принц Айдахар Мун стоял у тёмного окна и смотрел вниз, на нижний сад, где днём его отец чистил яблоко для честного дурака с мечом.

Он не спал. Он редко спал. Сон - роскошь тех, кто уверен в завтрашнем дне, а Айдахар в своём завтрашнем дне уверен не был - и не по слабости, а оттого, что умел считать. Он считал всю жизнь. Считал взгляды отца - сколько доставалось старшим, сколько младшему, и разница выходила такая, что иной на его месте давно бы озлобился вслух. Айдахар не озлобился вслух. Он был слишком умён, чтоб тратить злость на слова: слова слышат, а услышанная злость - это уже улика.

За спиной у него, в тени, стоял человек - неприметный, из тех, кого держат не за имя, а за молчание.

- Король говорил нынче с Яровом, - сказал человек. - В нижнем саду. Долго. С глазу на глаз.

- Я видел, - сказал Айдахар, не оборачиваясь.

- Приставил его к младшему. Мечом.

Первый принц молчал так долго, что человек в тени начал уж думать, не отпущен ли он. Потом Айдахар произнёс - ровно, без тепла и без злобы, тем голосом, каким подводят счёт:

- Значит, боится. - Он наконец отвернулся от окна. В полумраке лицо его было спокойно, как у человека, который давно всё решил и теперь лишь ждёт, когда решённое созреет само. - Хорошо. Пусть боится. Страх - это когда уже понял, а сделать ещё не решился. От страха до дела, - он чуть улыбнулся, впервые за день, и улыбка вышла хуже всякой угрозы, - один шаг. И этот шаг, друг мой, отец мой не сделает. Он слишком любит. А кто любит - тот медлит.

Он подошёл к столу, где стыла нетронутая чаша вина, и не притронулся к ней.

- Медлить будем не мы, - сказал первый принц Саулета в темноту. - Ступай.

И человек ушёл, а Айдахар Мун остался стоять один посреди холодных покоев, и не было в нём в ту минуту ни ярости, ни спешки - одно лишь терпеливое, выверенное, как удар мастера клинка, ожидание. Терпение было его клинком. И оно было длиннее и острее всех клинков, что звенели в тот день на оружейном дворе под мягкий шёлковый плеск ладоней.

Глава 3

Город Тасталган. Южные земли

Нага

Во сне всегда было дерево.

Оно стояло посреди сгоревшего мира - огромное, выше облаков, золотое от корней до последнего листа, - и свет его был таким ясным, что резал глаза даже сквозь сомкнутые веки. Вокруг лежала земля, которую Алиша не знала и знала одновременно, как знают во сне: чёрные поля, реки, ставшие руслами пепла, города, погасшие, как угли под утро. Над горизонтом стоял дым многих пожаров. Где-то далеко, за краем видимого, шла война - Алиша не видела её, но слышала: не выстрелы и не крики, а низкий, ровный гул, похожий на то, как гудит под ногами земля, когда по ней идут тысячи.

Всё живое в этом мире было мертво или умирало. И только дерево горело - не огнём, а изнутри, тёплым, живым золотом, - и к нему со всех сторон, через пепел и дым, тянулись тени. Не люди даже. То, что от людей осталось. Они ползли, тянули руки, шли на свет, как идут к последнему теплу в очень холодную ночь.

Алиша стояла среди них и тоже тянулась. И знала во сне две вещи разом.

Что дерево зовут Терек.

И что оно ждёт именно её.

Она сделала шаг. Ещё один. Золотой свет лёг на лицо, тёплый, как ладонь, - и тут дерево зазвучало. Не шелестом листы, а звуком, какого Алиша, всю жизнь жившая внутри звуков, не слышала никогда: одна-единственная чистая нота, такая низкая и такая огромная, что в ней помещалось всё - и пепел, и война, и тени, и она сама. Нота шла сквозь неё, и Алиша вдруг поняла, что это не звук. Это имя. Дерево звало её по имени.

По настоящему имени.

А потом нота оборвалась, будто её перерезали, и в наступившей тишине...

Алиша проснулась от того, что за стенкой уронили кастрюлю.

Звук ударил её, как пощёчина: металл о кафель, раскатистое дребезжание, чья-то ругань, плач младенца, голос из радио, бас из машины внизу, ляг первого поезда надземки на эстакаде в квартале отсюда, - весь город разом, со всех сторон, в полную силу, как бывало всякое утро в первые секунды после сна, пока она не успевала взять его в руки.

Она взяла. Свела пальцы, не открывая глаз, - и мир послушно отступил, будто кто-то повернул ручку громкости. Кастрюля смолкла. Младенец за стенкой стал плакать тише, словно его унесли в дальнюю комнату. Бас внизу превратился в далёкое сердцебиение. Остался только поезд - его Алиша оставляла нарочно. Поезд на эстакаде был первым, что она услышала в этом городе, когда ей было девять, и с тех пор он был единственным звуком Тасталгана, который она не глушила никогда.

Она лежала на спине, глядя в потолок. Трещина на побелке, знакомая, похожая на реку на карте. Розовый свет неоновой вывески прачечной снизу, пробивающийся сквозь жалюзи полосками. «Стирка. Сушка. Круглосуточно» - одна буква перегорела третий месяц назад, и вывеска говорила «Стир а», что звучало как чьё-то имя.

Сон уходил. Алиша нарочно лежала неподвижно, вылавливая его хвост. Дерево. Пепел. Нота. Имя.

Четвёртый раз за месяц.

Она не верила снам. Не верила приметам, гороскопам, гадалкам с Рыбного ряда, которые за три медяка расскажут тебе про дальнюю дорогу и казённый дом, - и не верила в удачу вообще, в принципе, как не верят в честных менял. Двадцать лет жизни и одиннадцать из них

в Тасталгане научили её простому: хорошее с неба не падает, а если что-то и падает, то это кирпич. Но этот сон возвращался. А всё, что возвращается, Алиша считала угрозой - до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Доказательств пока не было.

Она села, спустила ноги на холодный пол и сделала то, что делала каждое утро и в чём не призналась бы никому под пыткой.

Перечислила.

Как сегодня может пойти не так. Всё. По порядку. Мотоцикл не заведётся - значит, выйти на двадцать минут раньше. Лайла опять удерёт от охраны и влипнет - значит, держать телефон под рукой. Вечером Ночь Легенд, в баре будет половина Нижнего города и люди трёх Отцов разом - значит, кто-нибудь напьётся, кто-нибудь вспомнит старую обиду, кто-нибудь потянется за ножом. Кто-нибудь выстрелит. Кто-нибудь придёт с тем, что хуже ножа и пистолета. Айбарс опять встанет спиной к двери. Её саму пырнут в толчее, со спины, пока она будет смотреть не туда.

Она перебрала всё. Спокойно, методично, без страха - как перебирают патроны перед выходом. Готовый к худшему не бывает застигнут врасплох. А врасплох в этом городе застает только один раз.

На телефоне висели два сообщения.

Первое - от Лайлы, отправленное в шесть утра, что для Лайлы было невыносимо рано: «ты жива? завтрак. лапша у старого Хо. в девять. не спорь. я уже удрала».

Алиша закрыла глаза. «Я уже удрала» от Лайлы Мураи означало, что двое отцовских телохранителей, приставленных к ней круглые сутки, сейчас рыщут по Верхнему городу, а сама дочь одного из самых опасных людей континента сидит где-нибудь в подземке в капюшоне и страшно гордится собой.

Второе - от Айбарса, короткое, как всё, что он писал: «К пяти. Не опаздывай. И поешь что-нибудь».

«И поешь что-нибудь». Алиша фыркнула. Откуда он всегда знает, что она не ела со вчерашнего обеда, - этого она не понимала за все четыре года, что работала на него. Айбарс вообще знал много такого, чего знать не должен был. И говорил из этого знания ровно столько, чтобы тебе стало не по себе.

Она оделась - быстро, привычно, как одеваются те, кто может понадобиться в любую минуту. Чёрные джинсы, ботинки на толстой подошве, старая кожаная куртка, которую не жалко порвать. Оружия Алиша не носила. Ножи и пистолеты носят обычные люди - те, у кого внутри пусто. А у Алиши внутри был весь город. Наушник - не для музыки. Музыку Алиша не слушала: зачем, если весь город и так играет у неё в голове.

У двери она проверила замок. Трижды. Потом ещё раз, потому что трижды - это чётное число попыток, если считать с первой, а она не любила чётное.

И вышла в Тасталган.

Тасталган просыпался так же, как засыпал: не просыпаясь до конца.

Этот город вообще не спал. Он дремал урывками, как дремлет старый сторожевой пёс, одним глазом, и даже в самый глухой предрассветный час где-нибудь в нём гремела музыка, лаяла драка, визжали тормоза, пересчитывали деньги. Сейчас, в восемь утра, ночная смена ещё не легла, а дневная уже вставала, и на узких улицах Нижнего города они сталкивались плечами: мутноглазые девчонки из клубов в блестящих платьях и дешёвых куртках поверх - и грузчики из порта с термосами; уставшие таксисты - и школьники с рюкзаками; уборщики, сметающие с тротуаров битое стекло, - и те, кто это стекло ночью бил.

Мотоцикл завёлся с третьего раза. Алиша отметила это про себя с мрачным удовлетворением человека, который оказался прав: она вышла на двадцать минут раньше.

Она выкатила его из-под навеса прачечной и влилась в поток.

Тасталган лежал в чаше между морем и холмами, огромный, как несколько городов, сваленных в одну кучу и так и не разобранных. И четыре его куска принадлежали четырём Отцам - не улицы, не дома, а целые районы, каждый со своими законами, своей армией и своим цветом.

На севере, на Белых Холмах, лежал квартал Лории - самый старый в городе. Высокие стены из белого камня, кипарисы, тихие мощёные улицы без единой вывески, особняки, в которых жили семьи, помнившие город ещё маленьким. Никакого неона - только белые фонари вдоль стен. А на самой вершине, над всем кварталом, стояла Цитадель: древняя белая крепость, откуда Лория полвека смотрел на свой город.

Порт принадлежал Мураيه. Золотая гавань - горы контейнеров, краны, похожие на скелеты гигантских птиц, пакгаузы, плавучие казино, - а посреди гавани, навечно поставленный на якорь, «Левиафан»: огромный старый лайнер, переделанный во дворец. По ночам его палубы горели золотыми гирляндами, и отражение дрожало в чёрной воде на полгавани.

На востоке дымило Горнило - владения Драма. Литейные, бойни, фабрики, склады металлолома, подпольные арены, где дерутся за деньги. Там всегда пахло окалиной и кровью, и небо над Горнилом по ночам было красным от печей. Сам Драм правил из старой центральной литейной, в сердце которой, говорили, до сих пор стоит арена.

А Вер владела тем, что под городом. Её называли Изнанкой: бывшие катакомбы, подземные рынки, игорные подвалы, аптеки, где продают то, чего нет в аптеках, конторы, где считают чужие деньги. Наверху от владений Вер виднелась только старая стеклянная оранжерея на Зелёной площади - вход. И зеленоватый туман, что по ночам поднимался из вентиляционных решёток по всему западу города.

Белое зарево на Холмах, золотое в гавани, красное над Горнилом, зелёное из-под земли - по ночам они висели над Тасталганом, как четыре луны, и каждый житель знал, под чьей лунной живёт он сам. Это было важнее адреса. Адрес можно сменить. Луну - нет.

А между этими четырьмя владениями, в щелях, на ничьих и полуничьих улицах, до самой воды лежал Нижний город. Настоящий.

Здесь дома лезли друг на друга, как люди в переполненном вагоне, надстроенные, перестроенные, облепленные балконами, пристройками, лестницами, вывесками на трёх языках и двух азбуках. Над улицами висели провода - так густо, что небо сквозь них виднелось клетчатым. По эстакаде надземки, ржавой, гулкой, древней, как сам город, раз в семь минут проносился поезд, и тогда в окнах третьих этажей звенела посуда. В подворотнях пахло жареной рыбой, соевым соусом, мочой, дешёвыми благовониями и морем. На каждом углу что-нибудь продавали: лапшу, краденые телефоны, горячие пирожки, амулеты от сглаза, крысиный яд, любовь, оружие и новости - и всё это стоило денег, и всё это можно было сторговать.

Алиша любила этот город так, как любят только то, что ненавидишь.

Она свернула на Рыбный ряд - здесь было короче - и сбросила скорость: рынок уже разворачивался, торговцы выкатывали лотки прямо на проезжую часть, и мотоцикл приходилось вести между ними, как лодку между скал. Здесь громко. Здесь всегда громко: крики зазывал, стук разделочных ножей, шипение масла, лязг ставней, чья-то перебранка, чей-то смех, - и Алиша по привычке разобрала этот гул на части, как разбирают по ниткам спутанный клубок. Каждый звук - отдельно. Каждый - на своём месте. Вот торговка креветками ругается с поставщиком, и по дрожи в голосе ясно, что он её обсчитал. Вот двое у лотка с амулетами говорят вполголоса, и по тому, как оба понижают голос на одном слове, ясно, что сделка не про амулеты. Вот мальчишка лет десяти крадётся за толстым туристом, и сердце у мальчишки колотится так часто, что Алиша слышит его сквозь весь этот гвалт, - первая кража, значит, или вторая.

Она не стала вмешиваться. Не её квартал, не её дело, не её турист. В Тасталгане быстро учишься отличать то, что можешь исправить, от того, что можешь только слышать.

Это было самое тяжёлое в её даре - и никто этого не понимал. Люди думали: ну, слышит хорошо. Громче сделает, тише сделает, волной ударит. Полезная штука в драке. А никто не думал о том, каково это - слышать весь город разом. Каждое сердце, что колотится от страха. Каждый плач за стеной. Каждую ложь, потому что лгут люди с другим дыханием. Каждый шаг за спиной. Алиша слышала Тасталган таким, каким его не слышал никто, - и Тасталган, если честно, звучал как один огромный, никогда не умолкающий крик.

Поэтому она и научилась его глушить. Это было первое, чему она научилась, - раньше, чем бить. Иначе бы сошла с ума к двенадцати годам.

Рыбный ряд вывел её к Медному мосту.

Мост был старый, ещё с тех времён, когда город был вдесятеро меньше, - позеленевшая медь, чугунные фонари, на перилах тысячи замков, которые вешали влюблённые и которые время от времени срезала городская стража, чтобы мост не рухнул под их тяжестью. По обе стороны моста, прямо на тротуарах, сидели менялы - за своими весами, стеклянными будками, с калькуляторами и счётами одновременно. Менялы Медного моста были в Тасталгане отдельной властью: они меняли всё на всё - деньги любых стран, золото, долги, услуги, слухи, - и по тому, как они сегодня выставляли курс, умный человек мог прочесть погоду в городе вернее, чем по небу.

Алиша притормозила у перил.

Внизу, под мостом, на мутной воде Тассы, покачивалась плоскодонка, и старик в брезентовом плаще орудовал длинным багром. Багорщик. Древняя тасталганская должность, пережившая все реформы, все войны и все смены власти: вылавливать из реки то, что город в неё сбросил. Мусор. Краденое. Мёртвых. Сейчас он как раз подцепил что-то тяжёлое и тянул к борту, и по тому, как оно шло - тяжело, мягко, лицом вниз, - Алиша поняла, что это.

Она прислушалась, не желая того.

Вода. Скрип уключины. Дыхание старика - ровное, привычное, как у рыбака, вытягивающего сеть. И тело - тихое, без сердца, без дыхания, только вода хлопает в одежде. Утопленник? Нет. По тому, как оно легло на воду, по тому, как не было в нём того особого звука, который бывает у лёгких, наполненных водой, - Алиша поняла: мёртвым сбросили. Уже мёртвым. Значит, ночью кто-то с кем-то не договорился. Значит, днём это аукнется.

Она отметила это - привычно, впрок, в ту копилку дурного, которую вела всегда. В Тасталгане мёртвые были не концом истории, а её началом, и умный человек читал реку, как читают утренние новости.

Менялы у моста, кстати, сегодня выставили золото выше обычного.

Это тоже было в копилку.

Лапшичная старого Хо стояла в тупике за Медным мостом, в полуподвале, куда вели шесть щербатых ступенек, и о ней знали только свои. Вывески не было. Была дверь, выкрашенная в красный, и запах бульона, который томился здесь, говорили, без перерыва уже тридцать лет, - старик только подливал воду да подкладывал кости, а огонь под котлом не гас ни разу.

Лайла сидела в дальнем углу, в капюшоне, натянутом до бровей, и махала Алише обеими руками так, будто они не виделись год, а не три дня.

- Жива! - объявила она на всю лапшичную. - Я же говорила Хо, что ты жива. Хо, она жива!

Старый Хо, крохотный, сморщенный, в засаленном фартуке, поднял глаза от котла, оглядел Алишу и кивнул с таким видом, будто и не сомневался, а если бы сомневался, то ничего бы не изменилось.

- Капюшон, - сказала Алиша, садясь напротив. - Серьёзно?

- Это маскировка.

- Лайла. У тебя из-под капюшона торчат серги, каждая из которых стоит как этот квартал. И ты орёшь.

- Я не ору, я радуюсь. - Лайла стащила капюшон, и по плечам рассыпались тёмные волосы, и лицо у неё было такое, каким бывает лицо у человека, который удрал с уроков и ещё не попался: счастливое, виноватое и совершенно не раскаявшееся. - И серьги - это подарок. Нельзя же подарки снимать, некрасиво.

- От кого подарок?

- От папы.

- От папы, - повторила Алиша. - Который сейчас, вероятно, поднял на уши половину Верхнего города, потому что его единственная дочь в очередной раз ушла от охраны через окно.

- Не через окно. - Лайла оскорблённо выпрямилась. - Через прачечную. Там есть служебный выход, в подвал, а из подвала в коллектор. Я его в прошлом месяце нашла. Гарм и Тесак даже не поняли, куда я делась. Сейчас, наверное, стоят у прачечной и гадают.

Гарм и Тесак были те самые двое отцовских охранников - огромные, молчаливые, похожие на двусторчатый шкаф, поставленный на ноги. Алиша их видела пару раз и оба раза жалела.

- Через коллектор, - сказала она ровно. - В городе, где позавчера в коллекторе на Кожевенной нашли троих, которых никто не опознал. Лайла, ты понимаешь...

- Понимаю. - Лайла подняла ладонь, останавливая. - Понимаю, понимаю, понимаю. Опасно, глупо, безответственно, меня могут украсть, убить, продать и продать ещё раз, и папа тогда сожжёт полгорода, и это всё будет на моей совести. Я знаю наизусть, Алиша. Ты мне это говоришь каждый раз. Гарм говорит. Папа говорит. Даже Хо говорит, хотя Хо вообще ничего не говорит, он просто смотрит. - Она кивнула на старика. - Вот так смотрит.

Хо у котла смотрел ровно так.

- И что? - спросила Алиша.

- И то, что мне двадцать один год, - сказала Лайла, и голос у неё вдруг переменялся, стал тише и твёрже. - И я хочу хоть иногда позавтракать лапшой с подружкой так, чтобы за спиной не стояли двое, которые стреляют во всё, что движется. Это много? Это правда много - хотеть позавтракать?

Алиша помолчала.

Она знала, что на это ответить. Знала все правильные слова. Что Лайла - дочь Отца Мурайи, а значит, в этом городе нет ни одного утра, когда она могла бы просто позавтракать. Что у её отца враги, у врагов - наёмники, у наёмников - преysкурant, и в этом преysкурante цена за Лайлу стоит отдельной строкой, с тремя нулями больше обычного. Что никто не виноват, что так вышло, и меньше всех сама Лайла, - но так вышло.

Она знала это всё. И не сказала.

Потому что Лайла смотрела на неё через стол так, как смотрят люди, которые уже слышали все правильные слова и устали от них больше, чем от опасности.

- Не много, - сказала наконец Алиша. - Ешь. Остынет.

Лайла просияла, как будто ей подарили ещё одни серьги.

Хо поставил перед ними две миски - огромные, дымящиеся, с лапшой, которую он тянул руками, с тонкими ломтиками мяса, зелёным луком и яйцом, разрезанным пополам, - и, прежде чем отойти, положил рядом с миской Лайлы ещё и маленькую тарелку с пирожком. Просто так. Не говоря ни слова.

- Хо, ты ангел, - сказала Лайла.

Старик пожал плечами и ушёл к котлу.

- Он тебя любит, - заметила Алиша.

- Меня все любят, - легко согласилась Лайла, беря палочки. - Это моё проклятие. - Она засмеялась. А потом, помолчав, сказала уже без смеха: - Нет, правда. Меня все любят и все жалеют. Знаешь, как это? Меня никто не боится. Во всём этом городе, где все друг друга

боятся, - меня одну не боится никто. Я дочь Мурайи, у папы в подчинении половина порта, от одного его имени люди меняются в лице, - а на меня смотрят вот так. - Она показала: нежно, снисходительно, с лёгким сожалением. - Как на котёнка, который случайно забрёл на бойню. Ой, бедненькая. Ой, хорошенькая. Ой, как же она тут выживет, с таким-то сердцем.

- Ты и есть котёнок на бойне, - сказала Алиша.

- Вот! - Лайла ткнула в неё палочками. - Вот и ты туда же.

- Я не жалею. Я констатирую.

- Нет, ты жалеешь. Только по-своему. Ты жалеешь - и злишься, что жалеешь. - Лайла прищурилась. - Я тебя знаю, Алиша. Ты сейчас сидишь и думаешь, как бы мне выжить. Не как бы мне позавтракать, а как бы выжить. У тебя всегда на лице это написано. Ты с этим выражением и лапшу ешь.

Алиша подняла глаза от миски.

- Каким выражением?

- «Я жду, когда всё пойдёт не так», - сказала Лайла и изобразила: сдвинутые брови, сжатые губы, взгляд исподлобья. Выходило похоже. Даже слишком. - Ты опять с утра перечисляла, да? Как все умрут?

Алиша застыла с палочками у рта.

Этого она не говорила никому. Никогда. Ни единой живой душе.

- Откуда ты...

- Ты шевелишь губами, - просто сказала Лайла. - Когда думаешь. Считаешь что-то. Я давно заметила. Тыходишь в комнату и сначала смотришь на двери, потом на окна, потом на людей, и губами шевелишь, как будто список составляешь. - Она пожала плечами. - Я не дура, Алиша. Меня все держат за дуру, потому что я добрая. А доброта и глупость - это разные вещи, просто в этом городе их никто не различает.

Алиша медленно опустила палочки.

Иногда Лайла говорила такое, что Алише становилось не по себе, - будто эта солнечная, шумная, беспечная девочка, которую она привыкла защищать, вдруг поворачивалась к ней другой стороной, и за ней обнаруживался кто-то, кто видит куда больше, чем показывает. Кто-то, кто вырос среди чудовищ и не стал чудовищем - не потому, что не заметил их, а потому, что всё заметил и всё равно выбрал другое.

- Перечисляла, - сказала Алиша наконец. - Да.

- И я там была?

- Была.

- И как я умерла?

- Отравили. На приеме. Тебе всякий рад налить.

Лайла подумала.

- Логично, - признала она. - Я правда всё пью, что наливают. - Она отпила бульона прямо из миски. - Слушай, а ты себя когда-нибудь в этот список вписываешь? Как умрёшь ты?

- Всегда.

- И как?

- Ножом. Со спины. В толчее.

- Фу. - Лайла сморщила нос. - мрачно. А хоть раз - просто так? От старости? В кровати, в окружении внуков, которые спорят, кому достанется твоя куртка?

- Нет, - сказала Алиша. - От старости в этом городе не умирают. Это легенда.

- Вот поэтому, - сказала Лайла, - я и зову тебя на завтраки. Чтобы в твоём списке хоть одна строчка была про лапшу, а не про ножи.

Они помолчали. Хо у котла что-то напевал себе под нос, фальшиво и умиротворённо. За маленьким окошком под потолком мелькали ноги прохожих.

- Ты сегодня опять не спала, - сказала вдруг Лайла. Не спросила - сказала.

- Спала.

- Не ври. У тебя под глазами синее. Опять тот сон?

Алиша отвела взгляд. Про сон она однажды, месяц назад, проболталась - в три часа ночи, после смены, в полупустом баре, когда Лайла сидела напротив и крутила в пальцах соломинку. Проболталась одним словом: «Дерево». И с тех пор жалела.

- Нет, - сказала она.

- Опять тот, - кивнула Лайла, не поверив ни на миг. - Ты мне когда-нибудь расскажешь, что там?

- Там ничего. Дурной сон. От кофе.

- Ты не пьёшь кофе после шести.

- Значит, от лапши.

Лайла вздохнула, признавая поражение, - на время.

- Ладно. Тогда о приятном. - Она придвинулась ближе и понизила голос до заговорщицкого шёпота, который, впрочем, был слышен всей лапшичной. - Сегодня Ночь Легенд.

- Знаю. Я там работаю.

- А я там буду.

Алиша положила палочки на стол.

- Нет.

- Да.

- Лайла. Нет. Ночь Легенд - это не вечеринка. Это одна ночь в году, когда в одном подвале собираются люди всех четырёх Отцов, пьют за одним столом и делают вид, что не хотят друг друга убить. Там будут люди Драма. Там будут люди Вер. Там будут люди, которые знают тебя в лицо и знают, сколько за тебя дадут. А ты хочешь прийти туда...

- Без Гарма и Тесака, - кивнула Лайла. - Да.

- Нет.

- Почему?

- Потому что это самоубийство!

Голос у Алиши сорвался - резко, громче, чем она хотела, - и вместе с голосом сорвалось то, что она держала: миски на столе коротко звякнули, будто по ним щёлкнули пальцем, а лампа над головой мигнула. Хо у котла поднял глаза. Два мужика за соседним столиком обернулись.

Алиша стиснула зубы и взяла себя в руки. Миски замолчали.

- Извини, - сказала она тише.

Лайла смотрела на неё без испуга. Даже с каким-то тёплым любопытством.

- Вот, - сказала она мягко. - Вот поэтому я и хочу прийти. Потому что там будешь ты. С тобой не страшно. Мне ни с кем не бывает не страшно, кроме тебя, - ни с Гармом, ни с Тесаком, ни с папой. С ними я всегда чья-то. Дочь, охраняемая персона, ценность. А с тобой я просто Лайла. - Она пожала плечами. - И ещё потому, что папа тоже будет в городе этой ночью по своим делам, и если я останусь дома, то буду всю ночь сидеть одна в каюте на «Левиафане», смотреть на огни и думать, кого в этот раз убьют, пока меня держат под стеклом. Я не хочу под стекло, Алиша. Я хочу хоть раз увидеть, как живёт город, в котором я живу.

Алиша долго молчала.

- За стойкой, - сказала она наконец. - Ты сидишь за стойкой. Весь вечер. Рядом с Айбарсом. Никуда не отходишь. Ничего не пьёшь, что не налил он сам. Ни с кем не уходишь курить, в уборную ходишь со мной. Если я говорю «уходим» - ты уходишь, не спрашивая почему. Это не обсуждается.

- Идёт! - Лайла просияла.

- И Гарму ты пишешь, где будешь. Чтобы он стоял у входа снаружи.

- Ну-у...

- Или никак.

- Ладно, ладно. Пишу. - Лайла вытащила телефон, и пальцы её забегали по экрану с такой скоростью, что Алиша на миг заподозрила: она заранее знала, чем кончится разговор, и заранее согласилась на всё, лишь бы получить главное. Эта мысль её почему-то не рассердила, а насмешила.

- Ты это спланировала, - сказала она.

- Конечно, - не поднимая глаз, ответила Лайла. - Я же не дура. Я просто добрая.

Бар «Легенды» стоял там, где Тасталган переставал быть чьим-то.

На стыке трёх кварталов, в узком треугольнике улиц, где сходились границы трёх Отцов - Мурайи, Драма и Вер - и где золотое, красное и зелёное зарево ложились на мостовую одинаково тускло. Ничья земля. Такие места в городе можно было пересчитать по пальцам одной руки, и ценились они дороже самых богатых кварталов: только на ничьей земле враги могли сесть за один стол, не хватаясь за оружие. «Легенды» были нейтральной водой посреди моря, где плавали одни акулы.

Снаружи - ничего особенного. Облупленный фасад старой бани, железная дверь, узкая лестница вниз, над дверью - вывеска без неона, просто старые медные буквы, потемневшие от времени. Но стоило спуститься по лестнице, толкнуть вторую дверь, тяжёлую, обитую кожей, - и ты оказывался в другом мире.

Сводчатый подвал, кирпичный, низкий, длинный, как тоннель. Полумрак, тёплый, янтарный, от ламп в медных абажурах. Длинная стойка тёмного дерева, отполированная тысячами локтей до зеркального блеска. Столы в нишах, где можно было говорить так, чтобы не слышали соседи. И стены - вот чем «Легенды» и были знамениты. Стены от пола до сводов были увешаны фотографиями в простых чёрных рамках. Сотни лиц. Бойцы подпольных арен. Контрабандисты, которые провели корабль через шторм, какого не видели сто лет. Воры, укравшие то, что украсть было нельзя. Люди, выжившие там, где не выживают. Одни - живые ещё, другие - давно мёртвые. У каждой фотографии была своя история, и каждый завсегдатай знал хотя бы десяток. Сюда не вешали за деньги. Сюда вешали за то, о чём потом рассказывают.

А над стойкой, на медной табличке, выбиты были три строки - единственный закон этого места, древнее многих законов города:

«Здесь не стреляют. Здесь не мстят. Здесь пьют».

Алиша спустилась по лестнице без двадцати пять.

Айбарс стоял за стойкой и протирает стаканы - медленно, один за другим, тем ровным, бесконечным движением, которое она видела у него четыре года подряд и которое, казалось, не прерывалось с тех пор ни на минуту. Ему было около тридцати, но возраст его угадывался с трудом: спокойное лицо, из тех, что забываешь, едва отвернувшись, короткая тёмная борода, закатанные рукава, на левом предплечье - старая татуировка, которую он никогда никому не объяснял. Он не поднял глаз, когда она вошла. Он никогда не поднимал глаз. Он и так всегда знал, кто вошёл.

- Ты поела, - сказал он. Не спросил.

- Поела.

- Лапшу у Хо.

Алиша остановилась на полпути к стойке.

- Откуда ты знаешь?

- От тебя пахнет бульоном Хо. - Айбарс поставил стакан, взял следующий. - Его ни с чем не спутаешь. Тридцать лет варится.

- Мало ли где бульон.

- Мало ли. - Он пожал плечами. - А ещё Гарм звонил сорок минут назад. Спрашивал, можно ли ему вечером постоять у входа. Сказал, что юная госпожа будет здесь по личному приглашению Наги. - Он наконец поднял глаза, и в них, спокойных, тёмных, мелькнула ирония. - По личному приглашению. Я уж решил, что ты в хорошем настроении. Раз приглашаешь.

- Я не приглашала. Я сдалась.

- Это одно и то же, когда дело касается Лайлы. - Айбарс вернулся к стаканам. - Сядешь её сторожить за стойку?

- Она сядет за стойку. Рядом с тобой. А я буду там, где буду нужна.

- Разумно. - Он кивнул. - Я присмотрю.

Она села на высокий табурет у стойки. Айбарс, не спрашивая, поставил перед ней стакан воды со льдом и дольку лимона на край, - так, как она любила и как никогда ему не говорила.

- Список гостей, - сказала Алиша.

Он достал из-под стойки планшет, повернул к ней экраном. Алиша пробежала глазами. Всё как всегда в Ночь Легенд: люди Мурайи, люди Драма, люди Вер, пара независимых, завсегдатаи, старые бойцы, чьи лица висели на стенах. Имена, клички, пометки Айбарсовой рукой: «не сажать рядом», «не наливать крепкого», «в прошлом году разбил стол», «вдова того, что на третьей фотографии слева, - не спрашивать». Он помнил всё про всех. Это было его ремесло - помнить. Бар был не только баром. Бар был ухом.

Одна строчка стояла отдельно, в самом верху.

«Отец Лория. Лично. Столик у камина. В девять».

Алиша подняла глаза.

- Лория придёт сам?

- Лично, - подтвердил Айбарс.

- Он же лет шесть уже никуда не выходит из своей Цитадели. Ни на один приём. Ни на одну встречу. Все дела через своих людей.

- Семь, - поправил Айбарс.

- Тем более. Зачем ему?

Айбарс взял новый стакан, посмотрел его на свет.

- Сказал, хочет выпить со старыми друзьями, - ответил он.

- У Лории нет старых друзей. Он их всех пережил. Некоторых - помог пережить.

- Я знаю, - сказал Айбарс. И больше не сказал ничего.

Алиша смотрела на него долго. Он протирал стакан. Лицо его было спокойно, как всегда. И всё-таки Алиша слушала его - не ушами, а тем, как слушала всех, - и слышала: дыхание ровное, сердце ровное, руки ровные. Ни лжи, ни волнения. Только одно было не так: он протирал этот стакан уже третий раз.

- Ты что-то знаешь, - сказала она.

- Я много чего знаю, Нага. - Он наконец поставил стакан. - Это мой бар. Здесь говорят. Я слушаю.

- И что тебе сказали про Лорию?

- Ничего. - Айбарс посмотрел на неё прямо. - В том-то и дело. Про Лорию всегда говорят. Про него пятьдесят лет говорит весь город - что он купил, кого сжёг, с кем спит, кого боится. А последний месяц - ничего. Ни слова. Город замолчал про Лорию, как замолкают про покойника на поминках, когда все уже всё сказали. - Он взял следующий стакан. - Мне это не нравится. Но это, как ты понимаешь, не повод отказывать Отцу в столике у камина.

Она хотела спросить ещё, но наверху хлопнула дверь, и по лестнице загремели шаги - тяжёлые, неровные, нагло громкие. Двое. Нет, трое. Алиша услышала их задолго до того, как они показались: у одного на ремне звякало железо, у другого скрипели новые ботинки, третий дышал со свистом, как дышат те, кто курит с десяти лет. И сердца у всех троих стучали чуть быстрее, чем надо, - как у людей, которые пришли не за выпивкой и знают это.

Они спустились в зал, и Алиша узнала на куртке у первого красную нашивку. Драм.

- Закрыто, - сказал Айбарс, не поднимая глаз. - С девяти.

- А мы не пить, - сказал первый. Молодой, лет двадцати пяти, с бритой головой и золотым зубом, из тех, кого Драм держал для мелкой работы на улицах. - Мы проверить. Сегодня

ж Ночь Легенд. Наши будут. Надо глянуть, всё ли чисто, всё ли по-честному. Безопасность, понимаешь.

Он прошёлся вдоль стойки, ведя пальцем по дереву. Второй, со скрипучими ботинками, свернул к столам. Третий остался у лестницы.

Из подсобки выглянула Мира - девчонка лет семнадцати, недавно взятая Айбарсом в посудомойки, - и замерла, увидев чужих. Золотозубый заметил её. Улыбнулся.

- О. А это кто у нас? Новенькая? - Он двинулся к подсобке. - Иди-ка сюда, красавица. Покажи-ка, где у вас тут запасной выход. Для безопасности.

Мира попятилась.

И Алиша встала.

Она не решала вставать. Это было как с тем, что она делала с городом по утрам, - само. Что-то горячее, злое, давно знакомое поднялось в ней от живота к горлу, мир сузился до одной точки - бритого затылка с золотым зубом, - и воздух в подвале дрогнул.

Все стаканы на стойке разом запели.

Тонко, высоко, пронзительно - как поёт хрусталь, если провести мокрым пальцем по краю, только в сто раз громче. Лампы в медных абажурах замигали. А золотозубый вдруг схватился за уши и присел, как присаживаются от близкого взрыва, - потому что для него это и был взрыв: весь звук подвала, собранный в тугой пучок, ударил ему прямо в голову.

- Нага, - сказал Айбарс.

Он сказал это негромко. Совсем негромко, ровным голосом, каким говорят «передай соль». Но Алиша его услышала - сквозь всё, сквозь звон, сквозь гул в собственной крови, - и остановилась.

Стаканы смолкли. Лампы перестали мигать.

Золотозубый распрямился, мотая головой, и глаза у него были бешеные.

- Ах ты... - Он сунул руку под куртку.

- Здесь не стреляют, - сказал Айбарс.

Он не повысил голоса и не сдвинулся с места. Он всё так же стоял за стойкой с полотенцем в руке. Но золотозубый вдруг замер, не вынув руки из-под куртки, и посмотрел на табличку над стойкой, будто впервые её увидел.

- Твоя девка... - начал он.

- Моя сотрудница, - поправил Айбарс. - А ты, Кирей, пришёл в мой бар в неурочный час, без приглашения, и начал лапать мою посудомойку. Это, по-твоему, безопасность?

Золотозубый дёрнулся, услышав своё имя.

- Откуда ты...

- Кирей, сын Далии-швей с Кожевенной, - сказал Айбарс, всё так же спокойно протирая стакан. - Мать у тебя хорошая женщина. Шьёт на полквартиры. Три года назад брала у Драма в долг на лекарства, когда ты лежал с ножом в боку. До сих пор отдаёт. По четыре серебра в месяц, по первым числам. Правильно?

Кирей побелел.

- Я это к тому, - продолжил Айбарс, - что Драм, к которому ты сейчас вернёшься с докладом, очень не любит, когда его люди устраивают шум на нейтральной земле в Ночь Легенд. Очень. Он может решить, что ты позоришь его имя. И тогда долг твоей матери вдруг станет вдвое больше. А может, и нет. Я не знаю. Я только бармен. - Он поставил стакан. - Ступай, Кирей. Всё тут чисто. Можешь так и доложить. А вечером приходи, налью за счёт заведения. В Ночь Легенд все гости.

Кирей постоял ещё мгновение. Потом развернулся и пошёл к лестнице, не глядя на своих, и те потянулись за ним, и по лестнице их шаги застучали уже не нагло, а торопливо. Хлопнула дверь.

В подвале стало тихо. Мира, белая, как стена, скрылась в подсобке.

Алиша стояла посреди зала, и руки у неё дрожали - не от страха, от того, что не дали выйти. Она медленно разжала кулаки.

- Я бы справилась, - сказала она.

- Я знаю, - сказал Айбарс. - В том и беда. Ты бы справилась. Ты бы его уронила, и сломала ему что-нибудь, и он бы ушёл на своих двоих или на чужих руках, а через неделю Драм прислал бы сюда не троих, а тридцать. И в следующую Ночь Легенд здесь бы стреляли. - Он взял полотенце. - Ты быёшь быстрее, чем думаешь, Нага. Это хорошо на улице. Здесь - плохо. Здесь надо думать быстрее, чем быёшь.

- А ты откуда знаешь про его мать?

Айбарс пожал плечами.

- Он в прошлом году сидел вон за тем столом, пил и плакал. Говорил, что мать шьёт по ночам, чтобы отдать за него долг, а он её даже не навещает, потому что стыдно. - Айбарс помолчал. - Люди много говорят, когда пьют. Я просто помню.

- Ты всё помнишь.

- Работа такая.

Алиша села обратно на табурет. Взяла стакан с водой - лёд в нём ещё тихонько позванивал, отзываясь на то, что было. Она подержала стакан в ладонях, пока звон не стих.

- Прости, - сказала она. - За стаканы.

- Стаканы целы. - Айбарс вернулся к своим стаканам. - Ты умеешь не бить. Просто не всегда вспоминаешь, что умеешь.

Она помолчала.

- Айбарс. А почему ты меня тогда взял? Четыре года назад. Ты же знал, какая я.

- Именно поэтому, - сказал он.

- Это не ответ.

- Это ответ, - сказал он. - Просто ты его пока не понимаешь.

И больше не сказал ничего. Он всегда так делал.

Лайла явилась в семь - на два часа раньше, чем договаривались, - и не одна, а с огромным бумажным пакетом, из которого пахло корицей.

- Я помогать, - объявила она с лестницы. - Не спорьте. Я всё равно уже пришла.

- Мы открываемся в девять, - сказала Алиша.

- Вот и помогу открыться. - Лайла водрузила пакет на стойку. - Это булочки. С корицей. Из пекарни на Шёлковой, где хозяйка глухая и поэтому печёт лучше всех в городе, ей ничто не мешает. Айбарс, это тебе. Мира, это тебе. - Она выудила из пакета маленькую коробочку, перевязанную лентой, и протянула посудомойке, которая как раз выглядывала из подсобки. - Держи. Это серёжки. Не такие, как мои, попроще, но тебе пойдут. У тебя уши красивые, а ты их волосами прячешь.

Мира, которая после дневного визита Кирея до сих пор ходила бледная, растерянно взяла коробочку, открыла, ахнула - и вдруг залилась краской до корней волос.

- Госпожа Лайла, я не могу...

- Можешь. И никакая я не госпожа. - Лайла махнула рукой. - Лайла. Просто Лайла. Госпожой меня Гарм зовёт, и то потому что папа велел.

Мира ушла в подсобку, прижимая коробочку к груди. Алиша смотрела ей вслед.

- Откуда ты знаешь, что у неё красивые уши? - спросила она. - Ты её видела секунду.

- Две, - поправила Лайла. - Я смотрю на людей, Алиша. Ты смотришь, откуда они ударят. А я - что им подарить. - Она уже снимала куртку. - Айбарс, дай мне что-нибудь делать. Я умею протирать стаканы. Наверное.

Айбарс оглядел её - дочь одного из четырёх хозяев города, в шёлковой блузке, с серьгами ценой в квартал, - и протянул ей полотенце.

- Вот так, - сказал он, беря стакан. - Не три. Веди. Стакан не любит, когда его трут. Он любит, когда его уговаривают.

- Стакан любит, - повторила Лайла, беря полотенце. - Айбарс, ты философ.

- Я бармен.

- Это одно и то же.

- Это одно и то же, - согласился Айбарс, - только за философию платят меньше.

Лайла засмеялась, и смех у неё был громкий, лёгкий, некрасивый даже - она всхрюкивала, когда смеялась по-настоящему, и знала об этом, и не стеснялась. В тёмном сводчатом подвале, под сотней чёрно-белых лиц со стен, этот смех звучал так неуместно, что Алиша почувствовала, как что-то в груди отпускает.

Минут двадцать они работали втроём. Айбарс - как всегда, молча и ровно. Лайла - болтая без умолку, роняя полотенце, задавая сто вопросов. Кто вон тот, со шрамом через всё лицо, на третьей фотографии? А почему вон та женщина в рамке одна-единственная улыбается? А правда, что вон тот старик переплыл залив в шторм с мешком краденого золота на спине? Айбарс отвечал - коротко, по одной фразе, но так, что за каждой фразой вставала целая жизнь. Этот со шрамом - Корноухий Ислам, двадцать лет держал подпольную арену и ни разу не проиграл, умер от простуды. Та, что улыбается, - Нури, вывела из горящего порта сорок детей, её лицо сгорело наполовину, а на фотографии она до пожара, потому что сама так захотела. Старик с золотом - правда, переплыл. Только золото было не краденое, а его собственное, он его вёз вернуть долг и утонул бы, но долг был важнее.

- А почему «Легенды»? - спросила Лайла. - Кто назвал?

- Прежний хозяин, - сказал Айбарс.

- А он сам есть на стене?

Айбарс чуть помедлил, и Алиша, слушавшая его сердце так же привычно, как слушала всё, уловила эту заминку - короткую, почти незаметную.

- Нет, - сказал он. - Он не хотел.

- Почему?

- Говорил, что легенда - это не тот, кого помнят. А тот, про кого забыли, но он всё равно был. - Айбарс поставил стакан. - Он был странный человек. Протирай, Лайла. Скоро гости.

Лайла послушно протирала. А потом вдруг сказала - не отрываясь от стакана, как будто между делом:

- Айбарс. А ты тоже думаешь, что я слабая?

Айбарс не ответил сразу. Алиша подняла голову.

- Все думают, - продолжала Лайла, всё так же глядя в стакан. - Папа думает. Гарм думает. Алиша думает, хоть и не говорит. Весь город думает. Дочка Мурайи, добрая девочка, всех любит, всех жалеет, серёжки посудомойкам дарит. Мягкая. Не выживет, если что. - Она пожала плечами. - Я просто хочу знать. Ты тоже так думаешь?

Айбарс взял у неё стакан, посмотрел на свет. Стакан был чистый.

- Слабость, Лайла, - сказал он, - это когда ты становишься тем, во что тебя превращают. Ты выросла на «Левиафане» Мурайи. Среди людей, которые убивают до завтрака и считают деньги до обеда. Тебя двадцать один год учили быть такой же. Каждый день. Каждым примером. - Он поставил стакан на полку. - И ты не стала. Ни на волос. Ты всё равно даришь серёжки посудомойкам. Знаешь, сколько я видел людей, которые выдержали бы такое? Которые остались бы собой среди всего этого? - Он помолчал. - Мало. Очень мало. Их можно было бы повесить на эту стену.

Лайла смотрела на него, и глаза у неё заблестели.

- Правда?

- Я бармен, - сказал Айбарс. - Я не умею врать. Это вредно для дела.

Алиша знала, что это неправда: Айбарс врал виртуозно, когда нужно было, - она сама слышала. Но сейчас она слушала его сердце, и оно билось ровно.

Он не врал.

Без четверти девять Алиша поднялась на крышу.

Это был её ритуал перед каждой сменой, о котором не знал никто, кроме Айбарса, - а Айбарс знал всё. Она выбиралась через чердачный люк старой бани на плоскую крышу, садилась на край, свесив ноги над узкой улицей, и слушала город.

Весь. Целиком. Не глуша.

Внизу было сыро и темно, а здесь, наверху, Тасталган лежал перед ней весь, до самого моря, - море огней, дрожащих в тёплом вечернем мареве. Красные, синие, розовые, зелёные вывески. Жёлтые окна. Белые фары, текущие по улицам светящимися реками. Эстакада надземки, по которой полз поезд, похожий на светящуюся гусеницу. Порт с кранами, огнями кораблей и чёрной водой. И над всем этим - четыре зарева: белое над Холмами, где горела огнями Цитадель, золотое над гаванью, красное над дымами Горнила и зелёное, поднимающееся из-под земли на западе, - четыре луны четырёх Отцов, как чьи-то немигающие глаза.

Алиша закрыла глаза и отпустила звук.

Город обрушился на неё весь - и она его приняла. Она умела это, только здесь, только наверху, только когда никто не видит. Не отдельные звуки - всё разом, как одну огромную музыку. Бас из клубов на Шёлковой - это ударные. Надземка - это низкая, долгая нота, которая тянется через всю мелодию. Крики зазывал на рынке, смех, перебранки, плач, рёв моторов, гудки кораблей, звон посуды из тысячи кухонь, шёпот в тысяче спален, стук миллиона сердец - всё это сливалось в одно, в гул, в хор, в дыхание огромного зверя, который никогда не спит. Страшная музыка. Жестокая. Живая.

Её город.

За спиной скрипнул люк.

- Я знала, что ты тут, - сказала Лайла, выбираясь на крышу в своей шёлковой блузке, паккая её о ржавый край люка и не замечая. - Айбарс сказал, что ты на крыше, и что мне сюда нельзя. Поэтому я пришла.

- Разумеется, - сказала Алиша, не открывая глаз.

Лайла села рядом, тоже свесив ноги. Помолчала - что для неё было подвигом.

- Что ты слышишь? - спросила она наконец. Тихо.

Алиша не ответила сразу.

- Всё, - сказала она. - Весь город.

- Прямо весь?

- Весь. Каждого. Как одну песню.

- И какая она?

Алиша подумала.

- Громкая, - сказала она. - Злая. Голодная. Но живая. Если долго слушать, начинаешь понимать, что это не крик. Это просто все сразу разговаривают. И никто никого не слушает.

- Кроме тебя, - сказала Лайла.

- Кроме меня.

- Одиноко, наверное. Слушать всех, когда никто не слушает тебя.

Алиша открыла глаза и посмотрела на неё. Лайла смотрела на огни, и лицо её в разноцветном отсвете вывесок было совсем детским.

- Ты бы хоть раз помолчала, - сказала Алиша, но без злости.

- Не умею, - сказала Лайла. - Ты мне про сон расскажешь? Раз уж мы тут. Никто не услышит. Ну, кроме тебя.

Алиша долго молчала.

- Там дерево, - сказала она наконец. - Большое. Золотое. Посреди мира, который сгорел. Все, кто остался, ползут к нему. И оно... зовёт меня. По имени.

- По имени «Алиша»?

- Нет. - Алиша смотрела на огни. - По какому-то другому. Во сне я его знаю. Точно знаю, что это моё, настоящее. А просыпаюсь - и не помню. Как будто кто-то стёр.

Лайла не засмеялась. Не сказала «это просто сон». Она помолчала и тихо взяла Алишу за руку - просто взяла, как берут своих, - и Алиша, которая никому не позволяла себя трогать без спросу, почему-то не отняла руки.

- Когда вспомнишь, - сказала Лайла, - скажи мне первой. Ладно? Я хочу знать, как тебя зовут по-настоящему. Даже если ты тогда станешь кем-то другим.

- Не стану.

- Все становятся, - просто сказала Лайла. - Когда узнают, кто они. Я вот жду. Может, я тоже однажды проснусь и узнаю, что я не котёнок на бойне, а что-нибудь пострашнее.

Алиша фыркнула. Лайла тоже. И они сидели на краю крыши, две девушки над огромным ночным городом, держась за руки, и молчали, и молчать было хорошо.

А потом Алиша повернула голову к Белым Холмам.

Она не собиралась. Просто по привычке, перед сменой, проверяла, как звучат владения Отцов, - так проверяют погоду. «Левиафан» в гавани звучал музыкой и гулом приёма, который Лайлин отец давал этой ночью на верхней палубе. Горнило - тяжёлыми ударами молотов и рёвом толпы над ареной. Изнанка Вер - тихим, частым стрекотом машин, считающих деньги где-то глубоко под мостовой.

Цитадель Лории звучала как всегда: глухо, сдержанно, ровно. Старый Отец не любил шума. Его крепость всегда была самой тихой из четырёх владений - но тишина её была живая, наполненная: шаги слуг, гудение лифтов, дыхание охраны, двенадцать сердец на постах, чьё-то бормотание, скрип пера, - Алиша знала этот звук наизусть, как знают дыхание спящего соседа за стеной.

И вдруг из этого звука что-то пропало.

Не стихло. Не оборвалось. Пропало. Как будто кто-то взял ножницы и вырезал кусок из ткани - ровно, аккуратно, без единой рваной нитки. Только что там, наверху, в белой Цитадели, был звук, - и вот на его месте дыра. Не тишина даже. Тишину Алиша слышала сто раз, тишина - это тоже звук, у неё есть глубина, дыхание, эхо. А тут не было ничего. Будто кусок мира вынули, а края сомкнулись.

Это длилось мгновение. Может, два.

Потом всё вернулось: шум крепости, гул города, огни. Белое зарево над Холмами горело ровно и холодно, как горело все

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.